

СТРАННЫЙ ГОРЬКИЙ

По-настоящему Горького никогда не любили. Именно в этом его главная трагедия. Каким-то странным холодом веет от всей его шумной биографии, где было столько разного, но, кажется, не нашлось места ничему «слишком человеческому», ничему такому, о чем можно было бы вспомнить со слезой или улыбкой.

Каждое событие в этой биографии слишком значительно, чтобы сойти просто за милую случайность, без которой жизнь человека теряет очарование. Вот Владислав Ходасевич писал о странной нелюбви Горького к правде, доходившей до смешного... А мы – мы тотчас вспоминаем, каким несчастьем это обернулось для страны и для писателя в конце 20-х...

Последние месяцы, дни и часы Горького наполнены какой-то жутью. От этого невольно стараешься отвести глаза, если еще осталось в тебе чувство духовного сохранения. Какие-то «личности», Ягода, Сталин, Молотов, etc., возле постели умирающего русского писателя пьют шампанское – бр-р-р! – это не так страшно, как именно противно душе. Нижегородская подруга Горького Е. Кускова писала об этом: «Но и над молчащим писателем... они стояли со свечкой день и ночь...» Он и сторожил его последний вздох. «Мы вместе. Ты наш...» И опустили руки.

Наивно думать, что возвращение Горького в СССР и дальнейшие события оказались следствием чего-то определенного: какой-то «ошибки» или какого-то «подкупа»; что «история с чемоданом», в котором хранился тайный архив писателя, прольет свет на логику «конца Горького». Все ведь и без «чемодана» ясно и, может быть, потому непонят-

но. Дело в том, что в эмиграции Горькому не было места. Это хорошо понимали и он сам, и его современники. Опять же Кускова писала: «Горький – знатный эмигрант, мог бы быть очень богатым, если бы он был в силах стать эмигрантом».

Но пойдём дальше и подумаем: а было ли ему место в СССР (скажем, в «буче, боевой кипучей» молодых советских писателей или на скорую руку сшитой харизме сталинской власти)? – мы все-таки не найдем точного ответа и придется оставить его «на потом», когда, мол, «все будет известно». Пожалуй, это главная особенность биографии Горького: все линии его судьбы не имеют конца, обрываются в черную пустоту, как и сюжет его последнего романа, который читаешь, читаешь и кажется: вот-вот схватишь его смысл... но нет... и наконец плонешь... и оставишь «на потом»...

Странная все-таки была фигура. Самое начало его жизненного пути отмечено роковой печатью. В возрасте трех лет в Астрахани заболел холерой и заразил ею отца (симпатичного, по воспоминаниям, человека), который в конце концов и умер, словно подарив сыну свою жизнь. Мать, Варвара Васильевна, не имела на мальчика никакого влияния, не любила (считая причиной смерти обожаемого мужа) и потому, выйдя замуж второй раз, сдала его на руки бабушки и дедушки. Дед, Василий Васильевич Каширин, был богатым в Нижнем Новгороде человеком из бывших бурлаков (настоящий self-made man, отметил Е. Замятин), а бабушка, Акулина Ивановна, простой русской женщиной, «Ариной Родионовной»; она-то и наплатила мальчика необходимой энергией любви, без которой не может жить даже очень крепкая личность. Но Каширины быстро разорились, Варвара Васильевна умерла от чахотки, и Алешу отправили «в люди» (т. е. выставили за дверь).

«В люди» – это не просто так сказано. Если почистить за давностью лет потускневший смысл этого слова, обнажится первая черная дыра в созании Горького. Это необходимо понять по принципу о с т р а н е н и я. Если можно находиться «в людях», значит возможно быть и где-то еще («в не людях» – что ли?). «Люди» – это не просто среда обитания, которую не замечаешь (как воздух), но именно – материальное пространство, в которое неизъяснимо заброшен мальчик п о ч ь е й - т о в о л е. По чьей же? На этот вопрос нет ответа. Но в любом случае понятно, что это была недобрая воля, если девизом молодого человека стало: «Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться...»

Существует народная притча о двух лягушках, которые попали в кувшин с молоком. Первая сложила лапки и утонула. А вторая колотила лапками до тех пор, пока молоко не превратилось в сметану и масло. Может, это не слишком приятно звучит, но Горький по натуре был именно второй лягушкой. Когда судьба выбросила его «в люди», он м е с и л внезапно окружившее его пространство, пока оно не сдалось и не дало «чужаку» места на грешной земле.

Вот хроника его странствий по Руси за 1891 год. Уходит из Нижнего Новгорода. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ. Посещает Казань, Царицын, живет на станции Филоново Грязе-Царицынской ж/д. Приходит в Ростов-на-Дону, работает грузчиком. Из Ростова идет в Харьков. Из Харькова – в Рыжовский (Куряжский) монастырь, затем в Курск. Из Курска идет в Задонск. Посещает монастырь Тихона Задонского. Идет в Воронеж. Возвращается в Харьков. Идет в Полтаву, из Полтавы через Сорочинцы – в Миргород. Посещает Киев. Идет в Николаев. Приходит в село Кандыбово Николаевского уезда. Избит мужиками.

После николаевской больницы идет в Одессу. Проходя Очаков, работает на добыче соли. Путешествует по Бессарабии, возвращается в Одессу. Идет в Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялту, Алупку, Керчь, Тамань. Приходит на Кубань.

Арестован в Майкопе «как проходящий». Беслан, Терская область, Мухет. Снова арестован. Идет в Тифлис. Работает в мастерской.

В конце концов, судьба вынесла его «в газетчики», а потом «в писатели». И здесь он снова был чужаком. Как бы ни ласкала его на первых порах интеллигенция, какие бы банкеты ни давались в Петербурге в его честь (где тосты поднимали не кто-нибудь, но П.Н. Милюков, П.Б. Струве, В.Г. Короленко, М. Туган-Барановский); они все-таки держали его за «гостя»; правда, за такого, с которым нужно быть «ласковым», ибо Бог его знает, кто он, откуда и зачем. Л.Толстой сначала принял Горького за мужика и говорил с ним матом, но затем понял, что сел в лужу. «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу, – жаловался он Чехову. – Горький – злой человек... У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу».

Горький платил интеллигенции той же монетой. В письмах к И. Репину и Толстому пел гимны во славу Человека: «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека...»; «Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле...» И в это же самое время писал жене: «Лучше б мне не видать всю эту сволочь, всех этих жалких, маленьких людей...» (это о тех, кто в Петербурге поднимал бокалы в его честь) Или: «Я видел вчера, как Гиппиус целовалась с Давыдовой. До чего это противно!»

Когда он была искренен? Никто не ответит на это, положая руку на сердце. Леонид Андреев, уже будучи в эмиграции, вспоминал, как на квартире писателя Н. Телешова в Москве собирались И. Бунин, Серафимович, В. Вересаев, Б. Зайцев и другие, объединившись в кружок под названием «Среда». Иногда приезжали из Петербурга Горький и Шаляпин. И вот в отсутствие Горького всегда заходил разговор о нем и его искренности. Спорили до хрипоты. Однажды Вересаев не выдержал и сказал: «Господа! Давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов. Не будем говорить об искренности Горького...»

«Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел... Лукою, лукавым странником», – писал В. Ходасевич. Это так же верно, как и то, что он был странником во всем и везде, будучи связанным и состоя в переписке с Лениным, Чеховым, Брюсовым, Розановым, Морозовым, Гапоном, Буниным, Арцыбашевым, Гиппиус, Маяковским, Панферовым, реалистами, символистами, священниками, большевиками, эсерами, монархистами, сионистами, антисемитами, террористами, академиками, колхозниками, гэнэушниками и... прочими людьми на этой грешной земле, где только ему не нашлось места. «Горький не жил, а осматривал...» – заметил Вик.Шкловский. А что ему оставалось делать?

Все в нем видели «Горького», не человека, но персонаж, который он сам же придумал, находясь в Тифлисе в 1892 году.

И он тоже, взирая на себя со стороны, видел «Горького», а не Пешкова. В конце концов именно «Пешков» оказался персонажем, то есть случилась крупная подмена, ибо никакого Горького на самом деле не было, а была только не совсем удачная «придумка» молодого уездного

литератора. Между тем уже в ранних письмах к жене (самых искренних) он писал о себе в третьем лице:

«Прежде всего Пешков недостаточно прост и ясен, он слишком убежден в том, что не похож на людей... Фигура изломанная и запутанная...» И это не простая рисовка, в этом есть что-то серьезное и даже страшное, как и в его психологической недоверчивости к людям, за которыми он целую жизнь наблюдал пустыми глазами.

Он похож на слепого из «Тамани», когда его бросили берегу моря с медным пятакoм в руке. «И только?» Он не видел, но именно ощупывал этот мир, поражаясь каждой его выпуклой детали, каждой трещине, каждому звуку; но самое главное, он искал как о-т-о-человека, чтобы задать ему как о-й-т-о-во-п-р-о-с. Поэтому Горького так странно читать. Во всех его сочинениях есть что-то мучительное, психологически недостоверное, а вместе с тем вещественное изображение реальности иногда достигает гениальности, ну скажем, в «Климе Самгине». Безусловно это был великий художник из породы фламандских мастеров, и некоторые сцены в его последнем романе (например, чаепитие в доме Самгиных или Петербург после «кровавого воскресенья»), темнея со временем, приобретают особенную выразительность.

Юрий Трифонов как-то сравнил Горького с лесом, где есть и звери, и люди, и грибы, и деревья, и сучья. Но ему больше подходит сравнение в чуланом, в котором каждый предмет можно понять только на ощупь и лучше всего – с закрытыми глазами. В то же время Горький видел то, чего не могли видеть другие, в зрячем своем состоянии. Например, людей «наедине с собой». В 17-м томе его сочинений есть такие эпизоды, которые сначала вызывают улыбку, а затем – мистический холодок. Например:

«Отец Ф. Владимирский, поставив перед собою сапог, внушительно говорил ему:

– Ну, – иди!

Спрашивал:

– Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

– То-то! Без меня – никуда не пойдешь!»

Или:

«В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

– И – надо умереть?»

Конечно, он любил человека, но «странную любовь». В ней было все: и мука, и страсть, и радость, и «рыданье в голосе», говоря словами Набокова. И конечно, «Двадцать шесть и одна», или «Коновалов», или «Страсти-мордасти» навсегда останутся среди вершин русской сентиментальной прозы. Но все же это была любовь прохожего к чужим детям. Зачем он вечно слезил за людьми, не делая в этом между ними никакого различия (будь ты хоть извозчик, хоть уголовник, хоть Лев Толстой)? Зачем сочинил странную сказочку о Человеке, в которую сам же первый и не верил, но как-то вынужденно повторял ее целую жизнь. Миф о Человеке, вообще говоря, весьма сомнителен; недаром страстный монолог в его защиту произносит карточный шулер Сатин и рисует при этом рукой в воздухе какую-то странную фигуру... (есть в «На дне» такая ремарка).

Что это за фигура? Современник писателя эмигрант И.Д. Сургучев не в шутку полагал, что Горький однажды заключил договор с дьяволом –

тот самый, от которого отказался Христос в пустыне. «И ему, среднему в общем писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Достоевский. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь» (см. «Независимая газета», 26.03.93).

Может быть, и верно. Только это не нашего ума дело. А потому скажем легче: Горький был м а р с и а н и н о м. Вот почему его не любил Толстой, вот откуда все его «странности» и все его «маски» (от внешности мастерового до выражения лица Ницше, которое он примерил напоследок). Его крупные вещи напоминают талантливый отчет о служебной командировке на Землю. Все замечено, ничего не упущено; вот она, эпоха русской революции, «как живая». И отсюда же главный сюжет в биографии Горького – он сам, его муки (воистину – земные) и его трагедия. Это трагедия в о ч е л о в е ч е н и я. С болью и кровью... и все-таки не до конца.

Как же ему стало легко, когда его «отпустили». Как быстро он распрямил свои, допустим, крылья, чтобы окунуться в космическую бездну по дороге домой. Как было, наконец, чисто в его душе! И конечно, ученые мужи на его планете, прочитав отчет, все-таки его спросили:

– Видел человека?

– Видел?

– Какой он?

– О-о... Это великолепно! Это звучит гордо! Это я, ты, Наполеон, Магомет и другие вместе.

– А выглядит-то как?

И он нарисовал в воздухе рукой странную фигуру.

ТРАГИЧЕСКИЙ КОРДЕБАЛЕТ

В ночь, когда умирал Максим Горький, на казенной даче в Горках-10 разразилась страшная гроза.

Вскрытие тела проводилось прямо здесь же, в спальне, на столе. Врачи торопились. «Когда он умер, – вспоминал секретарь Горького Петр Крючков, – отношение к нему со стороны докторов переменилось. Он стал для них просто трупом. Обращались с ним ужасно. Санитар стал его переодевать и переворачивал с боку на бок, как бревно. Началось вскрытие... Потом стали мыть внутренности. Зашили разрез кое-как простой бечевкой. Мозг положили в ведро...»

Это ведро, предназначенное для Института мозга, Крючков лично отнес в машину.

В воспоминаниях Крючкова есть странная запись: «Умер Алексей Максимович 8-го».

Но Горький умер 18 июня...

Вспоминает вдова писателя Екатерина Пешкова: «8 июня 6 часов вечера. Состояние Алексея Максимовича настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен... Алексей Максимович – в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный, дыханье слабело, лицо и уши и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы, началась икота, беспокойные движения руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то...»

«Мы» – это самые близкие члены семьи: Екатерина Пешкова, Мария Будберг, Надежда Пешкова (невестка Горького), медсестра Черткова, Петр Крючков, Иван Ракицкий – художник, живший в доме Горького. Для всех собравшихся несомненно, что глава семьи умирает. Когда Екатерина Павловна подошла к умиравшему и спросила: «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» – на нее все посмотрели с неодобрением. Всем казалось, что это молчание нельзя нарушать.

После паузы Горький открыл глаза, обвел взглядом окружавших: «Я был так далеко, оттуда так трудно возвращаться».

И вдруг мизансцена меняется... Появляются новые лица. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому бодрой походкой входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Им уже сообщили, что Горький умирает. Они приехали проститься. За сценой – руководитель НКВД Генрих Ягода. Он прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось.

«А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было».

Сталин ведет себя в доме по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Крючкова. «Зачем столько народу? Кто за это отвечает? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?»

«Хозяин» приехал... Ведущая партия – его! Все родные и близкие становятся только кордебалетом.

Когда Сталин, Молотов и Ворошилов вошли в спальню, Горький настолько пришел в себя, что они заговорил о литературе. Горький начал хвалить женщин-писательниц, упомянул Караваеву – и сколько их, сколько еще появится, и всех надо поддерживать... Сталин шутливо осадил Горького: «О деле поговорим, когда поправитесь. Надумали болеть, поправляйтесь скорее. А быть может, в доме найдется вино, мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику».

Принесли вино... Все выпили... Уходя, в дверях, Сталин, Молотов и Ворошилов помахали руками. Когда они вышли, Горький будто бы сказал: «Какие хорошие ребята! Сколько в них силы...»

Но насколько можно верить этим воспоминаниям Пешковой? В 1964 году на вопрос американского журналиста Исаака Левина о смерти Горького она отвечала: «Не спрашивайте меня об этом! Я трое суток заснуть не смогу...»

Второй раз Сталин с товарищами приехали к смертельно больному Горькому 10 июня в два часа ночи. Но зачем? Горький спал. Как ни боялись врачи, Сталина не пустили. Третий визит Сталина состоялся 12 июня. Горький не спал. Врачи дали на разговор десять минут. О чем они говорили? О крестьянском восстании Болотникова... Перешли к положению французского крестьянства.

Получается, что 8 июня главной заботой генсека и вернувшегося с того света Горького были писательницы, а 12-го – стали французские крестьяне. Все это как-то очень странно.

Приезды вождя словно волшебным оживляли Горького. Он как будто не смел умереть без разрешения Сталина. Это невероятно, но Будберг прямо скажет об этом: «Умирал он, в сущности, 8-го, и если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся к жизни».

Сталин не был членом горьковской семьи. Значит, попытка ночного вторжения была вызвана необходимостью. И 8-го, и 10-го, и 12-го Сталину был необходим или откровенный разговор с Горьким, или стальная уверенность, что такой откровенный разговор не состоится с кем-то другим. Например, с ехавшим из Франции Луи Арагоном. Что сказал бы Горький, какое мог сделать заявление?

После смерти Горького Крючкова обвинили в том, что он с докторами Левиным и Плетневым по заданию Ягоды «вредительскими методами лечения» «умертвил» сына Горького Максима Пешкова. Но зачем? Если следовать показаниям других подсудимых, политический расчет был у «заказчиков» – Бухарина, Рыкова и Зиновьева. Таким способом они якобы хотели ускорить смерть самого Горького, выполняя задание их «главаря» Троцкого. Тем не менее даже на этом процессе речь не шла о прямом убийстве Горького. Эта версия была бы уж слишком невероятной, ведь больного окружало 17 (!) врачей.

Одним из первых заговорил об отравлении Горького революционер-эмигрант Б. И. Николаевский. Якобы Горькому была преподнесена бонбоньерка с отравленными конфетами. Но версия с конфетами не выдерживает критики. Горький не любил сладости, зато обожал ими угощать гостей, санитаров и, наконец, своих горячо любимых внучек. Таким образом, отравить конфетами можно было кого угодно вокруг Горького, кроме него самого. Только идиот мог задумать подобное убийство. Ни Сталин, ни Ягода не были идиотами.

Доказательств убийства Горького и его сына Максима не существует. Между тем тираны тоже имеют право на презумпцию невиновности. Сталин совершил достаточно преступлений, чтобы вешать на него еще одно – недоказанное.

Реальность такова: 18 июня 1936 года скончался великий русский писатель Максим Горький. Тело его, вопреки завещанию похоронить его рядом с сыном на кладбище Новодевичьего монастыря, было по постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) кремировано, урна с прахом помещена в Кремлевскую стену. В просьбе вдовы Е. П. Пешковой отдать ей часть праха для захоронения в могиле сына коллективным решением Политбюро было отказано...